«Русское богаторо» 1890, N4 Mac. N 10406

## выдающійся литературный типь.

Объективно-критическій очеркъ.

-500 H I.

Передъ нами нашъ старый знакомый—Иванъ Ильичъ. Онъ—человъкъ ничъмъ не выдающійся ни въ области науки, нли искусства, ни въ области практическихъ мъронріятій,— и несмотря на то, однако можно быть увъреннымъ, что имя его—популярно и что память о немъ сохранится среди насъ надолго, до тъхъ поръ, пока не перестанеть въ русскомъ обществъ водиться человъкъ инерціи.

Не нужно смѣшивать людей инерціи съ людьми инертными. Съ понятіемъ инертности соединяется покой, съ нонятіемъ инерціи — движеніе, но далеко не всякое, а только то, источникомъ котораго являются не внутренніе импульсы, не нравственное «я», а постороннее вмѣщательство, толчекъ извиѣ. Теперь, когда для насъ понятенъ человъкъ инерціи, я

перейду къ истории Ивана Ильича.

Исторія Ивана Ильича—и самая обыкновенная, и самая ужасная і). Иванъ Ильичъ—покорный рабъ условій времени и міста; онъ — человіть толпы и человіть инерцін. Жить по инерціи—воть основное направленіе Ивана Ильича. И на языкъ невольно просится сравненіе—его, Ивана Ильича, съ разогнаннымъ помимо его воли челнокомъ. Жизнь—прихотливая и своенравная—разгоняеть его безпощаднымъ весломъ и сообщаеть «челноку» такую страшную, неудержимую инерцію, что не разбиться онъ не можеть, если нале-

<sup>• 1)</sup> См. «Смерть Ивана Ильича», 12 т. соч. Л. Н. Толстого.

на ваменистый берегь или на подводный рифъ. А нана рифъ овъ налегить навърно, потому что рифъ его разумное сознание которое проснется не сегодня-завтра! Пикто и никогда не могь его направить по дорога истивный и плодотворной жизни. Онъ — сынъ чиновинка, следавшаговъ Петербурга по разнынъ иннистерствамъ и департаментамъ ту достославную карьеру, которая доводить людей до тогоположения, когда они не свюта и не жнуть, а Госполь нитаеть ихъ... Онъ-истинный продукть своей семьи и потому ея дюбинець. Онь быль всегда не такой холодими и аккуратный, какъ его старшій брать, и не такой стчаянный, какъмладшій брать. «Онъ быль середина между вини — умный, живой, пріятный и придичный человікь. Когда Иванъ Ильичъ еще учился въ Правовъдени, онъ быль ужь тъмъ, чъмъ быль виосабдствін, всю свою жизнь—ичелов бкомъ способнымъ, весело добродушнымъ и общительнымъ, но строго исполняющимь то, что онь считаеть своимь долгомь; долгомь же онъ своимъ считалъ все то, что считалось таковымъ наивыеще поставленными людьми. Онъ не заискиваль ни у кого, и въ немъ однако было то, что онъ, какъ муха къ свъту, тинулся къ наивысше поставленнымъ въ свъть людямъ, усвоявалъ себъ ихъ пріемы, ихъ взгляды па жизнь и съ ними устанавливаль дружескія отношенія».

Когда онъ жилъ въ провинци, гдъ былъ чиновникомъ особыхъ порученій губернатора — онъ оставался въренъ салъ себъ; Иванъ Ильичъ «служилъ, дълалъ карьеру и вмъстъ съ тъмъ пріятно и прилично веселился». Пріятно и прилично!..

Вогда онъ сталь судебнымь слёдователемь, онъ оставался все такимъ же «соште il faut». Онъ поставиль себя въ нёкоторомъ достойномъ отдалени отъ губернскихъ властей, а избралъ «лучшій кругь» изъ судейскихъ и богатыхъ дворянъ, жившихъ въ городъ, и принялъ тонъ мелкаго неловольства правительствомъ, умъренной либеральности и цивилизованной гражданственности. Все это въ мъру — и опятьтяки пріятно и прилично!..

Иванъ Ильнчъ уже — товарищъ прокурора. Еще семь лътъ — онъ прокуроръ и наконецъ онъ — старый прокуроръ! Но мало этого — онъ ъдетъ въ Петербургъ и будетъ хлопотать; и, чтобы наказать всъхъ тъхъ, которые его не оцънили, онъ перейдетъ въ другое министерство и онъ накажетъ

ихъ!.. Благодаря протекцін его повзка ув'внчалась положительнымъ и неожиданнымъ успъхомъ. Иванъ Ильичъ теперьне кто-ипоудь, не мелкотравчатый чиновникъ, а членъ судебной палаты — величина. И все пошло опять — легко, пріятно и прилично, даже виртуозно. Дома-ли, въ судъ-ли свою нартио Иванъ Ильичъ отдълывалъ отчетливо и добросовъстно безъ скуки, если не было винта, со скукой, если упускался случай повинтить. И въ общемъ получалось то, что «радости служебныя были радости самолюбія: радости общественныя были радости тщеславія: но настоящія радости Ивана Ильича были радости игры въ винтъ». Отличнъйшій служака, милый человъкъ и добросовъстный партнеръ! Во всемъ безукоризненность. во всемъ порядочность!.. Все хорошо, но горе въ томъ, что не испытываль Иванъ Ильичъ семейныхъ радостей, не знать Иванъ Ильичъ ни дружбы истинной и ни того, что межеть удержать отъ страха смерти. Все это онъ почувствоваль особенно тогда, когда имъ овладъла страшная, мучительная боль, и смерть - всесильная, неумолимая - распетведо вішвнось всеми

Семья? Иванъ Ильичъ женился по особеннымъ соображеніямъ — довольно низкопробнаго, сомнительнаго свойства. Онъ дълаль для себя «пріятное» и вибств съ твиъ онь дълаль то, что «наивысше поставленные люди считали правильнымъ. Онъ очень скоро поняль, что супружеская жизнь, по крайней мъръ съ его женою, не всегда содъйствуетъ пріятностямь и приличію жизни, а, напротивь, часто нарушаеть ихъ, и что поэтому необходимо оградить себя отъ этихъ нарушений. И онъ добился этого, онъ выгородиль для собя независимый міръ и отношенія его къ семью пріобрыли характеръ жесткой, убивающей казенщины. А послъ: ссоры, неурядицы и отчуждение, и только ръдкие периоды влюбленности. какъ островки немного скрапивали безобразіе казеншины. Иванъ Ильичь такое положение семьи считаль вполив нормальнымъ и нужно было только закръпить его, упрочить. Опъ закръниль его, и стало хорошо-о, хорошо-то какъ!

Тенерь друзья? Иванъ Ильичъ имблъ «друзей»—друзьянартнеры и друзья-протекція. Иканъ Ильичъ былъ убъжденъ, что вст они его и почитали, и любили. И почитали, и любили? Но за что?

Нътъ ни семьи, иътъ ни друзей. Но что же есть? Кругомъ есть ложь, есть одиночество среди безчисленныхъ

знакомыхъ и семьи, есть наконецъ тоска, душевныя терзанія и есть страхъ смерти. Откуда это все? И въ голову Ивана Ильича невольно вкрадывается докучливая иысль: «Можеть быть, я жиль не такь, какъ должно?» Не можеть быть. Иванъ Ильичъ разбитъ физически, измученъ нравственно. Еще одинъ — два дня и онъ умреть. Кругомъ царящая, все разъбдающая ложь въ немъ возбуждаетъ ненависть. Онъ хочетъ правды, только правды-и эта правда открывается ему. Наконецъ-то пришло ему въ голову, что «то, что ему представлялось прежде совершенной невозможностью, то, чтобы онъ прожилъ свою жизнь не такъ, какъ должно было, что это могло быть правда. Ему пришло въ голову, что тъ его чуть замътныя поползновенія борьбы противъ того, что наивысше поставленными людьми считалось хорошимъ, поползновенія чуть замітныя, которыя онъ тотчась же отгоняль отъ себя, что они то и могли быть настоящія, а остальное все могло быть не то. И его служба, и его устройство жизни, и его семья, и эти интересы общества и службы, все это могло быть не то. Онъ попытался защитить передъ собой все это. И вдругь почувствоваль всю слабость того, что онъ защищаетъ». И защищать стало нечего. Когда онъ увидаль затемь свою жену- ея одежда, ея сложение, выражение ея лица, звукъ ея голоса-все сказало ему одно: «не то. Все то, чемъ ты жилъ и живешь-есть ложь, обманъ, скрывающій отъ тебя жизнь и смерть». И наконецъ пробиль его последній чась. Жена его «сь душевнымь прискорбіемь» оновъстила родныхъ и знакомыхъ о кончинъ «возлюблениаго» супруга своего, члена судебной палаты Ивана Ильича Головина. И этотъ грустиый «инцидентъ» среди давилинихъ «истинных» друзей Ивана Ильича не вызваль ничего, кром'в нъсколькихъ соображеній о перемъщеніяхъ и о возможныхъ измъненіяхъ по службъ.

Такіе люди, какъ Иванъ Ильичъ, извъстны каждому. У каждаго изъ насъ среди знакомыхъ намъ есть непремънно иъсколько Ивановъ Ильичей — и настоящихъ, форменныхъ заматеръвшихъ, и зарождающихся, молодыхъ, не сформовавшихся. Опи разсъяны кругомъ въ громадиъйниемъ количествъ и, если мы имъемъ право чъмъ-нибудь гордиться передъ остальными странами, такъ это изобиліемъ Ивановъ Ильичей. Мы, русскіе, прекрасно сознаемъ, что за послъднее столътіе мы создали великую литературу, мы сознаемъ, что воспи-

тали внаменитостей, отдавшихъ дань наукъ и пскусству; но мы же сознаемъ и то, что это не является для насъ особой, специфической заслугой—мы знаемъ, что Европа и Америка способны въ этомъ отношении поконкуррировать съ Россіей. Но есть у насъ одна особенность, одно явленіе, стоящее внъ всякой конкурренціи— вотъ это то и будетъ наша плодовитость на такихъ людей, какъ пресловутый, жалконькій, живописуемый Толстымъ и имъ же возведенный въ типъ, Иванъ Ильичъ.

Не нужно, впрочемъ, думать, что такіе люди являются какимъ-то исключительнымъ продуктомъ пашей канцелярів, что создаєть ихъ только міръ чиновничій, что міръ науки, напр., исключаєть самую возможность появленія такихъ людей въ своей средѣ. Напротивъ, эти люди есть вездѣ, во всъхъ слояхъ, во всъхъ кругахъ — вездѣ, гдѣ есть условія для процвѣтанія инерціи, гдѣ позволяєтся и даже поощряєтся одностороннее развитіє субъекта въ ущербъ его духовной личности, гдѣ не считаєтся преступнымъ страшное и иногда безстылное преобладаніе животной личности, и — умственной надъ правственной. Прекрасной иллюстраціей того, какихъ чудеснъйшихъ Ивановъ Ильичей даетъ намъ міръ науки, можетъ послужить: «Скучная исторія» Чехова 1).

Здъсь обрисованъ человъкъ не изъ толпы и несмотря на то, при всей его учености, при всей идейности, въ немъ тоже слишкомъ сильно говоритъ победоносная и своевластная внерція. Онъ-Николай Степановичь, заслуженный профессоръ, тайный совътникъ и кавалеръ, мечталъ когда-то быть врачемъ, о чемъ мечтали и мечтаютъ чуть не всъ семинаристы. Дорога въ званио врача вполнъ опредъленная, и опъ пошель по вей. Но онъ пошель гораздо далье, чъмъ смъль мечтать, не даромъ же онъ быль трудолюбивъ, выносливъ и талантливъ! Онъ. выражаясь образно, все время шелъ въ одинъ изъ этажей бакого-то большого зданія, но въ увлеченій и по инерине—попаль-де на дорогу! — онъ подпялся куда-то выше, въ тогь этажь, гдъ можно встрътить не людей, а только отвлеченныя начала, формулы, гипотезы, теоріп. Онъ шель туда, гдъ есть страданія и возгласы о помощи, а обазался тамъ, гдв пусто, холодно и есть одно эгонстическое наслаждение...

¹) См. «Русск. Бог.» 1890 г. № 1, ст. Соверцателя.

хотя-бы наукой. Онъ пробыль здёсь до старости, онъ жиль одинъ и разучился понимать страданія, происходящія въ забытомъ, нижнемъ этажѣ. Теперь онъ снова слышить возгласы о помощи, но онъ уже безсилень отвѣчать на нихъ.

Вотъ Лиза, дочь! Но для отца душа ея темна. Когда въ душъ ея клокочетъ драма, отецъ не можетъ уяснить ее и думаетъ, что это «пустяки», пройдетъ...

Вотъ, Катя! Имя ей «сокровище». И та — непопята, и тей не можетъ онъ помочь. А какъ бы онъ хотълъ помочь!

Все это понимаеть Николай Степановичь теперь, когда одной ногой стоить уже въ могиль. Онъ чувствуеть теперь, что и въ его пристрастіи къ наукв, и въ его желаньи жить и въ его стремленіи познать самого себя, во всёхъ мысляхъ чувствахъ и понятіяхъ, есть какой-то важный недохвать изъянь, нётъ чего-то общаго, что связывало бы все это въ одно цёлое... Нетъ въ немъ того, что называется «общей идеей или Богомъ живого человъка»... Онъ—Николай Степановичъ, ученый, знаменитый человъкъ, не можетъ скрыть теперь ни отъ другихъ, ни отъ себя, что «побъжденъ», что жизнь его полна не просто ненормальностей, а вопющихъ ненормальностей, что жизнь его во многомъ, если не во всемъ, не то, что должно было быть.

Я укажу теперь еще на очень близкій типъ, обрисованный Елизою Оржешко въ разсказѣ «Одна сотая» 1).

Все та же скучная исторія. Все тоть же типь, только вь другомь одіяніи. Онь— не чиновникь, какъ Иванъ Ильичь, и не ученый, какъ у Чехова. Онъ просто «світскій человікь, гуляка, пустомелн». «Кто же, спрашиваеть онь,— у насъ на родині и, увы, даже въ нікоторыхъ странахъ Европы не слыхаль обо мні, о томъ сумасбродномъ мальчишків—миллонерь, который въ теченіе десяти літь суміль ухлопать и милліоны свои и жизнь?» Теперь, когда онъ задыхается и умираеть, когда онъ просить только морфію и морфію, онъ начинаеть сознавать, что жизнь его растрачена и глупо въ высшей степени, и подло, подло, подло!.. А тоска-то, тоска!.. Въ немъ было, правда доброе начало, но вто же — только одна сотая! Всё остальныя 99 сотыхъ его внутренней и внішней жизни представлялись мерзостью и отвратительною

<sup>1)</sup> Cm. cPycck. Borat., 1889. XII.

безголковициюй. О чемь онь беноминаеть съ наслаждениемь и радостью, такъ это только тъ моменты его жизни, когда онь жертвоваль изъ безкорыстной любви къ брату, къ ближему частицей личнаго благополучія, когда его «благодариль» какой-вибудь мужикъ, когда его прощала и благословляла «милая бабуся», когда онъ сознаваль, что онъ не просто «ясный панъ», а добрый и хорошій человъкъ.

Въ уста такихъ дюдей, какъ онъ, когда они лежатъ уже въ могилъ, фантазія поэта смъло можетъ вложить горькое признаніе:

«Много важныхъ и знатныхъ особъ До могилы меня провожало, Но на мой разукрашенный гробъ Ни единой слезы не упало... Изъ пустого тщеславья родня монументомъ богатымъ почтила Бъдный прахъ мой и тутъ же меня Навсегда и совсъмъ позабыла» 1).

H.

Нередъ нами прошли представители трехъ различныхъ круговъ общества и всв они являются людьми инерцін—все это люди пепутевые. Все окружающее ихъ не воспитало ихъ достойнымъ образомъ, не сообщило имъ живыхъ, полезныхъ пмпульсовъ, а погубило ихъ, убило ихъ. Иперція была той почвой, на которой крвинулъ эгонзмъ и вмъстъ съ тъмъ росло страданіе. Жизнь знаменитаго ученаго въ разсказъ Чехова—намъ стоитъ только заглинуть въ нее поглубже—въ такой же степени эгонстична и своекорыстна, какъ прозябаніе Ивана Ильича и, растратившаго состояніе, милліонера. Помниль-ли кто-нибудь изъ нихъ о страданіяхъ ближняго? Заботился-ли кто-нибудь изъ нихъ понять страданія, помочь страдающимъ?

Всѣ они помнили только о себѣ и соблюдали только интересы личности. Всѣ они жили въ свое удовольствіе. Ивану Ильичу «пріятно» было создавать себѣ карьеру; герою Че-

<sup>1)</sup> См. «Три могилы» Михадовскаго, «Русси, Мысль», 89, IX.

хова. ученъйшему изъ ученыхъ, «пріятно» было постигать судьбы спинного мозга и т. и.; герою «Одной сотой» — опыннять себя развратомъ. Во имя самоуслаждення и итсколько сомпительныхъ «пріятностей» они забыли обо встать я вся. Во имя самоуслаждення они готовы были запереться въ герметическихъ коробкахъ и куковать пасдинъ свои однообразныя мелодіи. Затъмъ, чтобы понять, какъ эти люди появляются и могутъ-ли они быть счастливы, намъ нужно помнить только то, что могутъ быть и есть условія, въ которыхъ человъкъ позабываетъ о вопросрхъ истинно-разумной жизни.

Есть два вопроса—очень важныхъ — въ связи съ ръщениемъ которыхъ стоитъ вся наша жизненная практика. Вопросы эти — «что такое жизнь?» и «въ чемъ ея благо?»

Чтобы мы ни делали, ихъ вужно задавать себе и номнить такъ же, какъ мы помнимъ объ еде и другихъ существенныхъ потребностяхъ. А между темъ—мы знаемъ—очень часто люди помнять объ еде и о другихъ своихъ такъ называемыхъ «существенныхъ» потребностяхъ и забываютъ совершенно, (чтобы вспомнить только наканунъ смерти), о вопросахъ истинно разумной жизни.

Но почему же это люди забывають о вопросахъ истинно разумной жизни? Да и приходять ли они когда-пибудь въ ихъ голову? Еще бы! Но почему-же, если такъ они позабывають. Простой и вивств съ тъмъ прекраснъйший отвътъ находится у Толстого.

Родится человъкъ и въ первые годы своей жизни учится однимъ примъромъ людей, живущихъ вокругъ него-кругомъ же масса фариссевъ, кинжниковъ и прочихъ лжеучителей и всв они живуть для блага личной жизни «Если родители его въ пуждъ, онъ узнаетъ отъ нихъ, что цъль жизнипріобрътеніе побольше хлъба и денегь и какъ можно меньше работы для того, чтобы животной личности было какъ можно лучше. Если онъ родится въ роскоши, то опъ узнаетъ, что цаль жизни — богатство и почести, чтобы какъ можно пріятиве и веселбе провести время. Всв знанія, которыя пріобратаеть бадный, нужны для него только ради того, чтобы улучшить благосостояніе своей личности. Всъ знанія науки и искусствъ, которыя пріобрътаеть богатый, чесмотря на всъ высокія слова о значеній науки и искусствъ, нужны ему только для того, чтобы побороть скуку и провести прінтно время. Ибмъ дольше живеть и тоть и другой, темъ сильные

н сильные всасывается въ нихъ царствующій взглядъ людей міра. Они вступають въбракъ, заводятся семьей, и жадность къ пріобрътенію благь животной жизни усиливается оправдашемъ семьи: борьба съ другими ожесточается, и устанавливается привычка жизни только для блага личности». И это благо личности, животной личности, становится единственнымъ руководителемь! Но человъкъ есть человъкъ и начинаетъ сомнъваться въ томъ, что избранный имъ путь, рутинный путь-хорошъ... Онъ обращается съ вопросами туда-сюда. и въ книжникамъ и къ фариселиъ. Но тамъ и здъсь ему не отвъчають на его вопросы или отвъчають такъ, что только заслоняють иссену, когда-то давную великими учителями ченовъчества. И сомнъвающийся человъкъ, не получивъ па свой вопросъ ни отъ кого опредъленнаго отвъта, такъ-же, какъ и раньше, остается безъ другого руководства въ жизни, кромъ побужденій своей личности. А жить падо! «И воть туть-тоговорить Толстой-человъкъ волей-неволей подчиняется уже не разсуждению, а тому внъшнему руководству жизни, которое всегда существовало и существуеть въ каждомъ обществъ людей». А руководство это-все равно, что двери лабиринта,только и способствуеть тому, что человъкъ заблудится еще сильнъе, безвозвратнъе!...

«Рубоводство это есть привычка жизни обществъ людей, тымь сильные властвующая надъ людьми, чымь меньше у людей пониманія смысла своей жизни. Руководство это не можеть быть опредбленно выражено, потому что оно слагается нзъ самыхъ разнообразныхъ по времени и мъсту дълъ и поступковъ... Это — върность своему знамени и честь мундира для военнаго, дуэль для свътскаго человъка, кровомщение для горца; это изьвстныя кушанья въ извъстные дии, извъстнаго рода воспитание своихъ дътей; это визиты, извъстное убранство жилиндь. взейстныя празднования похоронь, родинь, свадебъ. Это-безчисленное количество дъль и поступковъ, наполняющихъ всю жизнь. Это то, что называется приличемъ, обычаемъ, а чаще всего долгомъ, священнымъ долгомъ». Короче товори, единственнымъ руководителемъ жизни является для многихъ инсредя жизви, не имбющая разумного объяспенія И до глубовой старости, до смерти даже «доживають людь, стараясь увършть собя, что, есля они сами не знають, зачемъ ови живуть, то это знають другю, - ть самые, которые

## Д.м. Струнин

выдающійся литературный типъ.

точно такъ же мало знають это, бакъ и тъ, которые на инхъ полагаются».

Не мудрено, что при такихъ условіяхъ позабываются вопросы истинно-разумной жизни. На этой почвѣ нарождается и размножается заблудшій человѣкъ. Толчется онъ и думаєть, что эта толчея — есть жизнь, а между тѣмъ онъ не жиль настоящей жизнью и потолкался только у дверей ея...

Удачную характеристику такихъ людей даетъ Щедринъ въ разсказъ «Больное мъсто», гдъ обрисованъ бюрократътакой-же, какъ Иванъ Ильнчъ, несчастный и заброшенный, хотя онь и жиль «по сущей совъсти» и «даже мухи не обидёль», хотя онь дёлаль постоянно «дёло» и при отставкё получиль чинъ тайнаго совътника. «Есть на Руси-говоритъ Щедринъ — великое множество людей, которые, повидиному. отвазались отъ всякой попытки мыслить и которымъ, однакожь, никакъ нельзя отказать въ названи мыслящихъ людей. Это именно тв мистики, которыхъ жизненный искусъ заранже осудиль на разработку тезисовь, бросаемых пзент, тезисовъ, такъ сказать, являющихся на арену во всеоружи непререкаемой истины. Они не анадизирують этихъ тезисовъ, не вникають въ ихъ сущность, но умёють выжать изъ нихъ всв логическія последствія, бабія они способны дать. Это люди несомивнио унные, но умиые, такъ сказать, за чужой счеть, и являющие силу своихъ мыслительныхъ способностей не ппаче, какъ на вещахъ, не имъющихъ въ немъ лично ни мальйшаго отношенія». Такіе люди, всиоминая свое прошлое, приходять къ убъждению, что это прошлое было для нихъ случайнымъ чъмъ-то, не своимъ, не собственнымъ. а безсердечно имъ навязаннымъ, приказаннымъ...»

Заблудшій человькь, какой такь міжь обрасовань в Толтымь и Щедринымь, несчастень. Потому что благо его личности, къ которому стремится онъ, недостижимо, и потому еще, что онъ не знаеть — въ чемь же заключается другая, истинная жизнь?

1) Что благо личности недостижимо—въ этомъ человъкъ ежеминутно—ежечастно убъждается изъ жизни.

«Стремясь къ достижению своего блага, человъкъ замъчаетъ, что благо это зависитъ отъ другихъ существъ. И, наблюдая и разсматривая эти другия существа, человъкъ видитъ, что всъ они, и люди, и даже животныя, имъютъ точно такое-же представление о жизни, какъ и онъ. Каждое изъ этихъ су-

ществъ точно такъ же, какъ и онъ, чувствуетъ только свою жизнь важною и настоящею, а жизнь других в существъ только средствомъ для своего блага. Человъкъ видитъ, что каждое взъ живыхъ существъ точно такъ же, кабъ и онъ, должно быть готово, для своего и маленькаго блага, лишить большого блага н даже жизни всв другія существа, а въ томъ числв и его, такъ разсуждающаго человъка. И, понявъ это, человъкъ невольно делаеть то соображение, что, если это такъ- а онъ знаеть, что это несомивнио такъ-то не одно и не десятокъ существъ, а всъ безчисленныя существа міра, для достиженія каждое своей ціли, всякую минуту готовы уничтожить его самого, — того, для котораго и существуетъ жизнь. И, понявъ это, человъкъ видитъ, что его личное благо, въ которомъ одномъ онъ понимаетъ жизнь, не только не можетъ быть дегко прюбретено имъ, но, наверное, будеть отнято отъ него». Помимо этого «онъ начинаетъ испытывать ослабление силь, и бользии, и глядя на бользии, старость и смерть другихъ людей, онъ замъчаетъ еще п то, что самое его существование, въ которомъ одномъ онъ чувствуетъ настоящую, полную жизнь, каждымъ часомъ, каждымъ движениемъ приближается бъ ослабленю, старости, смерти; что жизнь его, промъ того, что она подвержена тысячамъ случайностей уничтоженія отъ другихъ борющихся съ нимъ существъ и все увеличивающимся страданіямъ, по самому свойству своему есть только не перестающее приближение къ смерти, къ тому состоянью, въ которомъ вмъсть съ жизнью личности, навърное уничтожается всякая возможность какого бы то ни было блага личности».

Жизнь такого человъка есть желаніе блага себъ, именно себъ, и онъ видить, убъждается, что благо это невозможно!

2) Но. если такъ, то, можетъ быть, онъ знаетъ то, въ чемъ завлючается другая, истинная жизнь, и, можетъ, онъ сумъетъ перестроить прежнюю, животную на новый совершенный ладъ? Все это такъ, но дъло въ теръ, что эти люди очень поздно начинаютъ сознавать, что жизнь испорчена,—тогда, когда ошибки ихъ всосутся въ кровь, когда тлетворный ядъ пропъвнетъ все ихъ существо, когда зараза стапетъ просте на просто неизлъчимой... Помимо этого—та истинная жизнь, какую эткрываетъ имъ разумное сознане, настолько разистся отъ прежней, безтолковой суеты суетъ, что не приходится имъ по плечу и представляется невъроятно трудной,

даже невозможной... Въ нихъ остается горькое сознане, что прошлая ихъ жизнь—не то, совсъмъ не то, что должно быть, а новое вино въ мъхи старые не вливается!.. Затъмъ, чтобы понять, какъ велика и какъ бездонна пронасть между жизнью истинной и той неистинной, животной, низменной, какош мастіе живутъ до старости—достаточно припомнить тъ опредъленія жизни, которыя въ разное время дълались различными мудрецами.

«Жизнь — это распростанение того свъта, который для блага людей сомель въ нихъ съ неба», сказалъ Конфуцій за 600

льть до Р. X.

«Жизнь — это странствование и совершенствование душъ, достигающихъ все большаго и большаго блага», сказали брамины того же времени.

«Жизнь — это отречение отъ себа для достижения блаженной Нирваны», сказаль Будда, современникъ Конфуція.

- «Жизнь — это путь смиренія и униженія для достиженія блага», сказаль Лао-Дзи, тоже современникь Конфуція.

«Жизнь—это то, что вдунуль Богь въ ноздри человава для того, чтобы онъ исполняль его законъ, получиль благо», говорить еврейская мудрость.

«Жизнь-это подчинение разуму, дающее благо человъку»,

сказали стоики.

«Жизнь—это любовь къ Богу и ближнему, дающая благо человъку», сказалъ Христосъ, включая въ свое опредълени всъ предыдущія.

## III.

При оцфикъ художественной красоты и важности тъхъ или другихъ литературныхъ явленій каждый читатель можетъ идти двуми путями. Первый путь—это нуть субъективной оцфики. Для человъка, пожившаго и видавшаго много видовъ, этотъ путь можетъ считаться довольно падежнымъ. Субъективная оцфика опирается на единичный, личный опытъ и личный вкусъ. Изучая тотъ или другой литературный типъ человъкъ съ общирнымъ онытомъ и развитымъ чутьемъ, системень очень върно оцфиить его, и не соображаясь въ каждомичастномъ случав оъ опытомъ другихъ. Онъ самъ послужитъ и ручательствомъ за върность имъ предложенной опънки. Моменты для сравненія, критеріи хранятся въ его прошломъ—

въ томъ видъномъ и слышанномъ, пережитомъ, что сохранилось въ его намяти. Типично то, что онъ видълъ на каждомъ шагу. Типично то, что онъ, быть можетъ, и не видълъ, и не ощущалъ, а чувствовалъ, подозрѣвалъ всегда, вездѣ. Типично накопецъ не то, что чувствовалось только имъ, а чувствовалось многими, громаднымъ большинствомъ.

Провъркой перваго пути можетъ послужить второй путьпуть объективной оцвики, который къ сожальню не практикуется присяжной критикой «за недостаткомъ времени». Въ отличе отъ субъективной, объективная оцънка тиновъ смъетъ оппраться не на единичный, а на соедипенный оныть. Иримъняющий эту оцънку обязань знать отношение къ этому типу возможно большаго количества людей — цалыхъ аггрегатовъ-будь то присяжные ценители, будь то простые смертные, но чуткие и наблюдательные люди. На основании анализа сложившихся о данномъ типъ мибий, на основани встхъ чувствъ, идей и настроеній, забродившихъ въ обществъ но поводу извъстнаго литературнаго явленія, — на основаніи всего, что возникаеть въ связи съ нимъ въ литературъ или въ жизни, каждый можеть безъ особыхъ затруднений и съ песомитьной выгодой для дёла оценить известный типь и вообще извъстное дитературное явление. Онъ не обязанъ рабски подтверждать чужое межне и говорить съ чужого голоса, но онь обязань разобраться въ массъ голосовъ и отдълить все то, что отмъчается печатью убъжденія, а не партійности, не легкомыслія, не пустозвонства...

На основани всего, что говорилось мною раньше, можно придти въ тому заключеню, что Иванъ Ильичъ является типинымъ представителемъ извъстной категоріи людей, что этотъ типъ въ своихъ различныхъ проявленіяхъ охватываетъ самые разнообразные круги нашего общества. Подъ этотъ типъ подходятъ — и чиновинкъ, и ученый, и обыкновенный свътскій человькъ, гуляка, пустомеля и т. и. Одно ужь то, что онъ— Иванъ Ильичъ — встръчается въ такихъ разнообразныхъ промененихъ, что онъ — во всемъ, вездъ, — одно ужь это говоритъ ва всеобъемлемость, за глубину и важность типа. Стоитъ къ этому прибавить еще иъсколько словъ — и сусъективная оцънка чина была бы готова. Но... да позволятъ миъ нойти другимъ путемъ — путемъ объктивной оцънки. Необходимо по возмежности прислушаться и разобраться въ голосахъ, какіе

раздаются въ обществъ по поводу тиничности Ивана Ильнев и подвести итогъ.

Какъ знають вск, наше общество встрътило «Смерть Ивана Ильича» съ распростертыми объятіями и съ неумъреннымъ восторгомъ. «Смерть Ивана Ильича» была многими объявлена чъмъ то совершенно небывалымъ въ русской литературъ. Восторженность была столь велика, усиъхъ произведения столь необыченъ, что многіе изъ подвизавшихся на поприщъ литературной критики сочли необходимымъ охладить столь необузданный восторгъ. Послышались безцеремонные упреки восторгавшимся не просто въ увлечени, а еъ «одуръніи», въ томъ одуръніи, въ которомъ человъкъ, желая помолиться, разбиваеть себъ лобъ. Позабывали только обличичели такого «одурънія», что это одуръніе произошло не почемунибудь, а потому, что ихъ, заволновавшихся, ударили но самому больному мъсту — ихъ обличали съ безнопадностью, подавляли мъткостью и глубиной анализа!...

«Иванъ Ильнчъ — въдь это иы!»

Не потому же говорили это «одуръвние»—что имъ хотълось, изъ любви къ искусству, обличать себя?.. Для образиа такого самообличенія я укажу на два—три голоса.

«Зачёмь это писать — кричать откровенные люди — зачёмь это печатать, зачёмь бросать вы лицо людямь такую страшную правду, зачёмь отнимать иллюзи даже у тёхь которые разстаются со свётомъ и которымь излюзи такъ смягчають смерть?»

Такіе люди содрогаются при видъ безпощадности толстов- скаго анализа. Отважность этого апализа они готовы сравнить съ разбойничьимъ ножемъ, но виъстъ съ тъмъ они въ немъ видятъ правду, только правду!... Другіе люди подтверждаютъ или дополняютъ ту же мысль. Они увърены, что «Смертъ Ивана Ильича» является образчикомъ такого реализма и такой глубокой, неприкрашенной правды, какіе «едва ли отыщутся у величайшихъ художанковъ слова». Они убъждены, что «тысячи Ивановъ Пльичей, тысячи обыковенныхъ людей, читая этотъ простой, мъстами даже до грубости простой разскавъ, содрогнутся отъ его поучени и задумаются о своей жизни, какъ никогда не задумывались они». Они настолько поражаются типичностью Ивана Ильича» считаютъ самымъ нетиперболой и «Смерть Ивана Ильича» считаютъ самымъ не-

учительными нав всёхи разсказови, когда либо написанныхи, и самыми потрясающими.

Затъмъ, чтобы быть безпристрастнымъ, укажу и на другіе голоса, не признававшіе типичности въ Иванъ Ильичъ. Такіе голоса, во-первыхъ, далеко не многочисленны, а во-вторыхъ не отличаются особымъ безпристрастіемъ. Ходульность отрицанія типичности Ивана Ильича столь несомитина, что я считаю себя въ правъ ограничиться однимъ — двумя примърами такого отрицанія.

Есть мивние такого рода: Иванъ Ильичъ — не типъ. да и не близокъ къ типу. «Такіе люди есть, конечно; они живуть и умирають такъ, какъ изобразиль графъ Толстой. Но есть и не такіе въ томъ же обществъ, съ тъмъ же прошлымъ и при томъ же общественномъ положения. Но если въ самомъ дълъ въ обществъ есть люди-не такіе, какъ Иванъ Ильнчь, то развъ это служить доказательствомъ того, что онъ-не типъ? Вънь, если такъ, то намъ пришлось бы отринать типичность Хаестакова и прочихъ диковинокъ Гоголя, типичность Рудиныхъ. Базаровыхъ и пр. Не смъемъ же мы думать. что все общество, что даже половина, даже четверть общества составлена изъ чистокровныхъ Хлестаковыхъ, изъ чистокров-Рудиныхъ, Базаровыхъ и пр.? А, если такъ, зачвиъ же мы хотимъ. чтобы Толстой въ своемъ Иванъ Ильичъ подвель подъ общій знаменатель всёхъ и вся?.. Зачёмь мы требуемь такой всеобщности и безусловности? Я только этимъ ложнымъ пониманимъ типичности способенъ объяснить себъ ту неприличную придирчивость и странности различныхъ критиковъ, когда они для подтвержденія своего мевнія о нетипичности Ивана Ильича высказывають «мысли» въ следующемъ родь: «Паденіе съ лъстницы было «непріятностью», но непріятностю совершенно случайною и чрезвычайно радко встрачающеюся на жизненномъ пути членовъ судебнаго въдомства. Насколько намъ извъстно, опи чаще болъють и умирають жертвами сванчей жизни въ судъ и за картами. Съ этой стороны изъ новъсти Толстого можно вывести лишь одно поучение, что не следуеть важнымь чиновинкамь браться за дело дранировщика и лазить по эфетицамь. И эта-то игра воображения - довольно пошловатал -- считается аргументаціей вычпользу нетипичности Ивана Ильича!

Я привелу еще другое мижніе о нетипичности Ивана Ильича. Оно серьезиме, но и оно нокоится на ложномъ осно-

## выдающийся литературный типь.

вани. Оно — не баловство, а убъждение, хотя бы и не върное. Авторъ этого мибнія сознается въ томъ, что во всей псторіи и обликъ Ивана Ильича есть «много правды, правды обидной и горькой, правды, которая попадаеть нашей ибщанской пошлости не въ бровь, а въ глазъ». Но вибсть съ темъ онъ сомнъвается въ его правъ на роль «нашего» представителя. «Мы-говорить онъ-что делать, пошловатые и пустоватые люди, но люди однако же, а вашъ Иванъ Ильичъне человъкъ, а какой-то чурбанъ. Онъ не только обезличенъ, онъ обездушенъ Толстымъ и въ этомъ уже нъть ни житейской, ни художественной правды». Но въ чемъ же эта обездушенность, чурбанство типа? А въ томъ, что онъ лишенъ элементарнъйшихъ, человъческихъ чувствъ. У него нътъ ин семьи, хотя онъ мужъ и отець, --- ни друзей, хотя есть едино-мышленники и сослуживцы; у него есть только начальники, подчиненные и партнеры; у него нътъ отечества, а есть только палата, въ которой онъ благополучно засъдаетъ! Все это нобуждаеть автора и многихъ заключать, что нравственноопустошенный, обездушенный Иванъ Ильичъ — не типъ, а единица, исключение... Но, если такъ, то въ чемъ же эта правда-то, та обидная, горькая правда, которая «попадаетъ нашей мъщанской пошлости не въ бровь, а въ глазъ?» Одно изъ друхъ-или это правда, горькая, обидная, или это ложь и клевета; но, если это клевета, то почему же вы, вы сами, видите въ ней правду?.. Отвътять такъ: «согласны, что Иванъ Ильичь срисовань съ насъ, что въ неиъ есть много нашего, но для чего же такъ каррикатурить насъ, зачъмъ такъ безусловно отрицать въ насъ человъка?»

«Каррикатурить насъ?»

На это я отвъчу, что такъ смотръть на типъ Ивана Ильича способны только тъ, кто думаеть, что этогъ типъ съ какимъ-то злымъ, коварнымъ умысломъ срисованъ съ нихъ самихъ—съ тъхъ самихъ, кто его такъ критикуетъ. Такте люди защищаютъ самихъ себя и за собой не видять или не желаютъ видъть никого и ничего. А между тъмъ имъ стоитъ только оглянуться — они увидятъ тысячи Ивановъ Ильичей; имъ стоитъ обратиться къ первому чиновнику—въ провинціи, въ стелицъ, гдъ угодно — и тотъ имъ уяснитъ, правдивъ-ли этотъ типъ, распространенъ-ли онъ. Я укажу на очень интересный фактъ — есть люди и ихъ много, которые, когда прочли повъсть Толстого, не только пожалъли

въ самомъ дёлё жалкаго Ивана Ильича, но не задумались признаться въ положительной симпатти къ Ивану Ильичу. Одно ужь это говорить за то, что никакъ нельзя отрицать въ толстовской повъсти ни художественной, ни житейской правды. Симпатти къ каррикатурному лицу быть не могло.

Этимъ можно ограничиться. Вопросъ о томъ, какъ относилось общество къ Ивану Ильпчу, какін чувства и пден возбуждаль въ немъ этотъ типъ—я послъ этого могу считать уже поконченнымъ. Отвъты на него не только подтверждаютъ върность, всеобъемленость и глубину, а вмъстъ съ тъмъ и важность типа.

Мий остается указать на отношение того же общества въ разсказу г. Чехова, а въ частности въ герою Чехова. Установилось мибиле, что «Скучная исторія» есть отголосокъ, нован погудка на ту же толстовскую тему и что ученый Чехова есть отражение толстовского Ивана Ильича. Для иллюетраціи я могь бы обратиться къ фельетонной критикъ, но вибсто этого я приведу образчикъ незатъйливой, безхитростной и выбств съ темъ талантливой, сравнительной характеристики обонхъ разбираемыхъ разсказовъ и героевъ, принадлежащей одному изъ современныхъ молодыхъ читателей. Критеріемъ оцінки автору служила сила непосредственнаго впечатлънія, произведеннаго разсказами. Характеристика, которую я приведу, не только драгоцівна тімь, что иллюстрируеть нзвъстнымъ образомъ отношение извъстной части общества къ интересующему насъ явленю, но также и тъмъ, что безиристрастна и вибсть съ тъмъ глубока.

«По моему мижню, говорить читатель, разсказъ Толстого—оригиналь, общан тема, а разсказъ Чехова—варіація, частный случай обшаго правила; при этомъ Чеховъ совсёмъ далекъ отъ подражанія. Быть можеть, есть вліяніе? Но и объ этомъ мы не смжемъ говорить безусловно, потому что вообще русская литература почти непрерывно говорить о правдё въ жизни, о жизни но совести, по-божески. Во всякомъ случав разсказы эти по существу довольно близки, за это говоритъ намъ наше непосредственное чувство и потому невольно задаешь себъ конюсъ: который же разсказъ удачите воздёйствуеть и пецему?

«Такъ какъ оба разеказа инбютъ тенденцей изобразить неполноту и даже лживость изкъстнаго строя жизив, то первой задачей дли обоихъ было—изображение такого строя жизни, изъ котораго читатель могъ бы убълиться въ извъстной степени фальшивости его, въ превратности... Исполнена запача ярче и сильнъе у Толстого.

«Во-первых», онъ взяль такую среду, лживость которой для всякаго можеть быть понятна, ибо легко допустима—тогда какъ мірь науки, избранный Чеховымь, не заподозрень даже большинствомъ въ гръхахъ со стороны правдивости и полноты жизни.

«Помимо этого Толстой дживость и внутреннее противоржче свътскаго круга живописуетъ чрезвычайно тонкими и ивтыми, и вибств съ твиъ, естественными прасками; всю жизненную фальшь онъ воплощаеть въ образы, и у читателя при видъ ихъ уже кипить негодование въ груди. Читатель ос язаеть эту фальшь-и этого не достаеть въ разсказъ Чехова, хотя и здесь картинность не всегда отсутствуеть. Затемы, чтобы открыть ложь и неполноту жизни, какая присуща ученой средв, на помощь намъ въ разсказъ Чехова является анализъ и логива развитого ума значенитаго ученаго. Про фальшь среды читатель узнаетъ, а надо чтобы онъ и осязалъ, и чувствоваль... Читатель больше размышлениемъ, чёмъ непосредственно изъ образовъ постигаетъ противорече жизни. Какъ ни на есть, но слово обличения занесено и въ міръ науки-и въ этомъ заключается, но моему, заслуга нашего художника, его оригинальная черта

«Пругая особенность разсказа Толстого, приламиная ену разительную силу и обаяние, состоить въ томъ, что въ немъ представленъ самый ръзкій, ужасающій случай того, какъ можеть кончиться и къ чему привести ложь современной «цивилизованной» жизни. Случай съ Иваномъ Ильпчемъ-самый ужасный изъ тъхъ, которые могуть быть въ нашемъ обществъ при прояснени сознания.. Для того, чтобы опоминться и сбросить иго, мало было ръшимости и очень большихъ страданій: опоминться заставня Пвана Ильича только смерть это последнее средство просветления человеческого духа. Какъ упорно не соглашался Иванъ Ильичъ признать пдею о фальни своей жизни! Какъ, значитъ, сильно онъ свыкся съ ней! Какихъ страшныхъ мученій стоило ему усвоеніе истины! И всетаки же истина пришла-почти насильственно. Опъ ионяль, наконець, что нужно всехъ и даже техъ, кого онъ не мобиль, жальть. А онь ихь не жальль!.. Никогда! Читатель поглощается всець по страшными картивами ужасающей, вравст-

венной драмы, но вибств съ твиъ онъ видитъ и исходъ. -Въ разсказъ Чехова вопросъ о лживости, односторонности ученой жизни поставленъ далеко не такъ категорически и убълительно какъ у Толстого. Отвъта на вопросъ: «какъ жить?» въ немъ не дано, какъ будто Николай Степановичъ, герой равсказа, и не сумъль и не успъль еще его выстрадать. Герой разсказа ясно чувствуеть разрозненность и обособленность главныйшихъ моментовъ своей жизни; онъ сознаетъ, что въ его жизни есть изъянъ и дальше этого сознанія онъ не идеть. Меня даже удивляеть то спокойствее, съ какимъ онъ приходить въ отрицательному приговору надъ всей своей жизнью. Онъ говорить, что «Богь живого человъка» въ немъ отсутствоваль; а дальше что? Что надо дълать? Отвъта нъть. Какимъ же образомъ соединить въ себъ и человъка, и ученаго? Быть можеть, это и несовибстимо? А, можеть, трудно совибстимо? А. можеть, совмъстимо хорошо? Опредъленнаго завъта людямъ Николай Степановичь не даль, а ограничился общими фразами-у него-де не было общей иден! Это пугаетъ читателя и мучаеть его, но не даеть пути спасенія. Разсказь разубъждаеть всяваго читателя въ обычномъ представлении о целостности и идейности ученой жизни и вызываеть большую внимательность въ себъ. Но дъло стало на полудорогъ: разрушене саблано, а созидание лишь смутно намбчено, тогда бабъ у Толстого на мъстъ разрушеннаго зданія воздвигнуто новое. Хорошо и то, что сдълано разрушение! Въ немъ слышно откровеніе оть человіка, возлюбившаго науку больше, чімъ людей, что всякое уклоненіе отъ жизни въ Богь, отъ требованій разума и совъсти, всякая спеціализація, въ томъ числь и ученая, умаляеть человъка, порабощаеть его случайностямъ, лишаеть пониманія запросовь жизни и, наконець, приводить къ груствому сознанию, что жизнь имъ прожита не такъ».

Приведенныя мною замътки снова подтверждають важность разбираемаго мною типа вообще и въ частности того, который обрисованъ г. Чеховымъ. Замътки нашего читателя настолько безъискусственны и виъстъ съ тъмъ върны, что каждый, въролтно, увидить въ нихъ то, что думалъ самъ.

Типъ, только что обрисованный мною, схваченъ русскою и польскою литературою только въ самое последнее время и представляется не только интереснымъ, занимательнымъ, а исключительнымъ и выдающимся явленіемъ.

При появлевіи такого рода много говорящихъ и уму и

сердцу типовъ каждый убъждается въ десятый разъ, что пресловутое «искусство для искусства» есть абсурдъ, обманъ, ловушка и что искусство есть орудіе, разсадникъ чувствъ, идей — иначе говоря, оно есть проводникъ опредъленныхъ настроеній.

Дл. Струнинь